

ДУХОВНАЯ СИЛА СЛОВА – ОСНОВА ЕДИНСТВА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

*Сергей Котькало
г. Москва, Россия*

ВОЙНА И ГОЛУБИ

«Душа болит...», – так писал Ваня, когда первая «тамагавка» разорвала грудь дома, где он прожил с Катей последние несколько дней. Огонь проглотил все, но ничто не саднило, кроме образа Спасителя в Красном углу, привезенного с родины. Им благословил их отец-духовник, отбывавших в неведомый Багдад.

«Ты, Ваня, осознано отправляешься в пекло, – говорил батюшка. – Никому давно не секрет, что «имя им легион» и они уже не остановятся ни перед чем. Такова природа Сатаны. Прежде, на Пасху, они бомбили братьев сербов. После, в Страстную неделю, они резали палестинцев едва не у самого Гроба Господня. Нынче они же бомбят без объявления южные районы Ирака только за то, чтобы завтра зажечь всю территорию. Я не могу сказать, что радуюсь твоей прямолинейности, но и не могу не признаться в радости за твою простоту любви к ближнему, с какою возвращаешься на древние Вавилонские земли, где некогда давно строился Ноев ковчег и откуда поплыл Божественным курсом в наши дни... Кто-то, верно, посмеется над тобою, кто-то посочувствует твоей простоте, однако никто из нас не будет рядом в самые безрадостные дни века нынешнего с тем крохотным малышом-арабом, нуждающимся в братском локте христианина... Возможно, им окажешься ты, что стоит дорогого... Господь благословит тебя, Ваня, – и на том батюшка заплакал, перекрестил Ваню и скоренько, слегка подшаркивая валенками, побежал обратно в храм», – не грустно, не весело, а обыденно рассказывала семейную историю, сидя под забором на лавке мать Маргарита поселянину из города, держа в руках сизаря.

– Голубок-то, – начал было спрашивать поселянин...

– А этот, – спохватилась мать Маргарита, – нет, ничего, не примерзнет... – и так, как-то особенно нежно пожалась о крылья птицы корявыми заскорузлыми руками. Не он один... Вчерась английский королевский перелетел на нашу сторону, дурашливый такой, надо думать, тожесть жить

хочет... Не верит антихристам... – посопела сколько-то, встала молча, выпустив по ветру птицу на волю, захватила ведра с водой и пошла в избу.

В доме, в горнице, перед образами горела синяя лампадка. Шумел на печке чайник. Не то, что кипел, а только шумел от избыточности скопившегося пара внутри. По долу гуляли сизарь и голубка. Жирные и нерасторопные, они клевали, скорее по привычке, доливку и самотканые застилки. Удивительным для поселянина было то, что птицы не гадили, как случается видеть в природе, абы где, а только на ведро, стоявшее под дверцей печки с углем. Пили тоже не из ведра, а из тарелки, куда налила им матушка Маргарита.

Словом, домашняя, точнее даже комнатная получалась птица. При виде входящей в горницу хозяйки, они построились и вытянулись, как на параде, и что-то такое на своем голубином языке прокричали. Матушка же на приветствие никак не отчестилась. Поставила ведра, сняла серебряно-синюю дошку, зажгла свет, посыпала по столу муку, достала из макитры пресное тесто, перекрестилась сама и стол перекрестила со словами: «Господи, Владыко живота, благослови...», – и проворно заработала кулаком и пальцами хлебный ком.

– Война войной, а жаворонков лепи Маргаритка, – весело сказала сама собою матушка, – у Бога все живы и Сорок Севастийских мучеников ждут твоего участия.

Меж тем, под Ум-Касрой, шли ожесточенные бои. Поганные варвары, лили с красного неба на белую землю огненные реки, на жилые дома и живых людей. Араб Исса, дежурный подстанции порта, владелец маленького участка земли, отец семерых детей, муж беременной Александры, имевший долг перед престарелыми родителями, увидев на дороге Ваню, сиротливо державшего пару голубей в руках, когда повсюду громыхали пушки противника, когда город пылал от бомбовых ударов врага, остановил «Москвич-400» и сказал радостно:

– Здравствуй, Ваня, – по-русски.

– Здравствуй Исса, – сказал Ваня тоже по-русски.

– Садись быстрее, – позвал Исса, – дома обед стынет...

Ваня никогда не видел Иссу, но по легкому голосу и по кресту на руке узнал в нем брата Константина, обещавшему написать из Магабы.

Ехали по пустыне без слов, лишь зорко следили по сторонам, где свистали ракеты, бомбы, снаряды и грохотали танковые колонны. «Москви-

чек» ревел как буря, однако делал свое машинное дело, вез пару пернатых и двух мужиков на обед, по слову Иссы.

Скоро, показались мазанка-кибитка и несколько деревьев, одно из которых высилось над крышей. Для средней полосы России такой хуторок мог бы показаться диковинным, но и здесь это не частый сюжет. Обыкновенно так селятся бедуины и совсем редко христиане. Слишком дорогая и трудоемкая здесь земля.

Дома их встретили Александра и две кареюие девочки с косичками и красными бантами, в белых шелковых платьях, в резиновых сандалиях, ровненькие меж собою, худенькие и резвые. Одна держала халат Александры, другая – за веревочку, черненького ягненка.

– Здравствуйте, Ваня, – сказала Александра.

Девочки только кокетливо улыбнулись и поклонялись.

– Здравствуйте, – сказал Ваня, – Мир вашему дому.

– Спасибо, – снова по-русски говорил Исса, печалуясь в усы, – это сегодня нам надо... Ты, Ваня, проходи, – указуя рукою на пуф, – садись ближе к столу... – и далее обращаясь к девочкам по-арабски, велел принести зерна для птиц, а Александре принести гостю воды и кофе...

Ване нравилась теснота слов и жизни арабов. В обыденной, мирной жизни она кажется нарочитой и скучной, особенно для русских, чьи просторы и климатическая разность не имеют границ. Здесь же все предельно ясно, не множественно и постоянно тысячами лет, не взирая на ядерные грибы и искусственность технологий для уничтожения наций. Англичане, в отличие от американцев, многожды уже в том убеждались после выродившихся израильтян, но, увы, тупая атеистичность побуждала их вновь и вновь кидаться на нефтяные поля, полагая, что только тем жив человек.

Исса и Ваня полулежа пили кофе. Девочки то бегали в дом, то возвращались обратно, вынося зерно птицам, воду мужикам и голубям, кокетничая, кружась кружевами окончаний на платьях. Александра слушала их гомон и незлобно нарочито морщилась шалостям детей. Ваня, с позволения Иссы, курил табак.

– Я сам не курю, – говорил тихо Исса, – но люблю смотреть на дым, когда курят русские. У вас это жизненно получается, без форсу, – так будет по-русски?

– Да, – согласился Ваня, – без форсу. Красиво, не от каждого русского услышишь.

Девочки кончиками косичек пытались гладить голубей. Те, в свою очередь, щетинились и спешно взлетали, делали малый круг и садились на место...

– Последняя моя почтовая пара, – сказал Ваня, взяв в руки сизаря, так же обыкновенно, как говорил ему на дороге в пустыне: «Здравствуй Ваня», – Исса. – Одни полетели, а остальные легли под бомбы в Багдаде, – и замолчал.

– Сегодня Сорок мучеников Севастийских, – робко сказала Александра на арамейском, – Господь, да услышит наши молитвы...

«... слышит Господь их молитвы, – пакуя сизаря и голубку в дальнюю дорогу, говорила матушка Маргарита, – лукавый сыплет на них реки огненные, а Илия-пророк, ладненький наш утешитель, ветерком, как водой, и задует. Вы только летите, родимые, безтревожно, не печалуйтесь за Ваню. Господь слышит наши молитвы и правит сообразно...»

– Сорок жаворонков желтых сейчас выставила мама моя на столе, радуется, – сказал Ваня, – любят наши радоваться в дни торжества Православия.

«... донесите Ване крошечку нашей радости. Он поймет, – говорила матушка Маргарита голубям, – мои хорошие. Ну, летите, – подкинула птиц над собой и лихо, по-уличному, свистнула, заложив два пальца в рот, вдосыл».

– Мне пора, – поднялся Ваня, – я отправлю, с вашего позволения записку...

Весеннее равнодействие не помешало в тот день закрутиться ураганному ветру. Загулял песок по пустыне волнами морскими. Загудела земля.

– Бомбят док, – сказал Исса, – чужого не жалко.

– Ты поедешь? – спросила жена.

– Поеду, – ответил Исса и посмотрел глаза в глаза Ване.

– Поедем, – сказал Ваня с готовностью, – под лежащий камень и вода не течет.

– А как же голуби вас найдут, – спросили смеющиеся девочки, когда он освистал пару и птицы быстро потерялись в туманной пыли бурана.

– Лишь бы живу, – засмеялся Ваня.

– Пожил бы у нас, отдохнул, – от себя сказал Исса.

– Там война, – красивым лицом обожгла Александра.

– А здесь дети и мы, мужики, должны прикрывать их собою. Ибо сказано, что никто не смеет обижать дитя... Поедем, Исса...

«... ночью в городе шли ожесточенные бои. Варвары на своем пути сжигали все до тла. Звериный оскал крушил жилые кварталы и школы. На пепелищах «воины свободы» устраивали сатанинские пляски, упиваясь пуншем и пивом, обкалываясь наркотой. Трижды взрывали госпитали и родильные дома,

насиловали женщин и детей, избивали, забивали до смерти стариков и инвалидов, грабили «освобожденные» дома и травили газом животных...

Весь день молился святителю Григорию Паламе и отцу Николаю. Сама Святая Троица ни на миг не оставляла меня, я жил в ней весь, как никогда.

Душа болит. Бог с нами...» – писал Ваня отцу-духовнику с передовой Южного фронта, где рука об руку, спина к спине стояли в неравном бою мусульмане и христиане против варваров цивилизованного мира, зная наверняка, что ни один волос не упадет с их головы без воли Божией, бывший сейчас к ним ближе, чем когда либо до начала войны.

– Он ни разу не написал о Кате, – заметила матушка Маргарита, – за нее надоть как-то молиться...

– Ей Ангели поют на небеси... – прикровенно и просто сказал отец-духовник, – и многомиллионному иракскому воинству, выдвинутого Господом на передовой рубеж. Ты, Маргаритка, пару встречай, – озорно свистнул батюшка, – новую оду Иерасалимскому Софронию правит Ваня. Сизарь только, – подслеповато вглядываясь в темень неба, говорил матушке, – на правое крыло слабнет: погрей его до утра.

– Англичанин вернулся, – смеялся поселянин.

... Голубь – птица христианская, – рассказывал, куря табак, сыну Иссы, Ваня, – ей только скажи: «Христос Воскресе!», – и она уже в ногах твоих трется. Вот, смотри, – зачерпнул рукою в темноте по ноге и тотчас протянул на растопыренной ладони к лицу юного воина сизаря, твердо и гордо стоявшего во фрунт, – а только что не было никого.

– Ваня, – позвал Исса, – начальство предлагает тебе...

– У нас один начальник: Отец и Сын и Дух Святой... – и спрятал сизаря за пазуху.

...ночь завершалась. Русская голубица села на плечо спавшему стоя Ване. Ему снились Родина, Церковь, благословляющий с амвона отец-духовник и выпускавшая чередную белую, благовествующую пару с высокого порога, что повис над ревающим Днепром, изнутри глубины вод рвавшего и толкавшего вперед Черного моря льды зимы, матушка Маргарита...

Зверье бомбило.

Голубь и голубка пролетели Басру, Багдад, Тегеран, Корсунь, Чигирин, Черкассы, ..., и, сбывая скорость полета, стали опускаться над стрехой дома Маргариты, где мокрая и соленая матушка слезно молилась на

колених пред образом Спасителя: «Господи, Владыко живота, не за Ваню одного, а за всея Ирак прошу, молитвами Пресвятыя Богородицы, батюшки Николая и всех святых...»

Солнце выплыло из Черного леса.

Занялся восход.

Близится Христово Воскресение.

НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ

Дорога была обыкновенно знойной. Ехала группа русских людей меж скал, по горам к Красному морю, чтобы переправиться на берег Акабы, что стало уже традицией: прикоснувшись древних мест святой Ближневосточной земли и запечатлев для укрепления опыт предшествующих тысячелетий, возвращаться домой по водам. Из года в год собирались и ехали так многие: Сергей Куличкин, Юрий Лощиц, Валентин Зубков, Борис Манвелидзе, Иван Лыкошин, Эдуард Володин, Сергей Лыкошин, Александр Богатырев, Игорь Ляпин, Владимир Щедрин, Анатолий Сафронов, Александр Сегень, Олег Фомин... Многие ехали. Разные и каждый за своим, а после уж, по силам, делились с русским народом через журналы и газеты накопленным в Святых землях. Ехал среди них и Ваня, простой, неказистый, можно сказать, что совсем странное в тех рядах явление, однако ж прилип, и все терпели его наличие...

«Синай» вышел от Египетского берега сразу после отдания гудка береговой службы.

Гудел катер или не гудел – этого Ваня не помнил и не утверждал. В письмах к сродникам, например, он сообщил лишь о прибытии в бухту Акабы совершенно ясно, будто Иордания начиналась сразу в Москве, – должно быть торопился.

В сообщениях газет мелькнуло извещение, что писатели ехали в шторм, что, конечно, преувеличение, хотя бала полтора-два было, когда «Синай» находился на середине пути.

Известно также, что писатели на борту вели себя смирно. Кое-кто даже спал. Ваня тоже, когда его «закачало», вздремнул, но после, по этому поводу, на машинном тракте, сокрушался в разговоре с антикваром Евгением, дарителем чудотворного образа Святителя Николая Мир Ликийского чудотворца с частицей мощей Свято-Никольскому храму Свято-

Никольского скита Валаамского Свято-Преображенского монастыря. Об этом писали в газетах и сообщали радио и телевидение.

Когда Ваня смотрел в номере гостиницы для паломников видео-сюжет о передаче монастырю чудотворного образа Святителя Николая, чему сам был свидетелем, прежде посетив Валаам, то, к своему удивлению, не увидел в нем ни самого факта передачи, ни иконы, ни пения акафиста Святителю Николаю, да и монастырь с братией прошел рефренным фоном....

Меж тем, писатели и Ваня приближались из Египта к берегам Иордании по пути пророка Моисея. Каждый думал свое, потому что большинство паломничало в этой части Святой земли первым разом и опытом ничего не знало. Они пытливо вглядывались в бескрайность, а иногда и в окраинную палестинскую приграничную дымку, арестованную колючей проволокой израильских оккупантов, и думу гадали каждый свою.

Они не пили горькую. Курили «втихую», кому было невозможно удержаться от соблазна. Ваня тоже курил, и даже в сравнении с иными прочими – часто. В нем, в его движениях и поступках чувствовалась нервность и непростительная суетность. Один, теперь покойный писатель, его товарищ, говорил прежде по такому поводу: «В тебе, Ваня, откровенная заброшенность, безхозность. Ты, вроде и не бомж еще, и всем нужный, а что чемодан без ручки – нести неудобно. Миръ – не для тебя...», – а сам этот провидец умер на паперти Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве. Душевный был человек: Царство ему небесное.

Писатели ехали хорошие, видные. О некоторых часто говорят даже «знаковый», то есть отмеченный, что правда. И Герои, и Лауреаты, и многотомные... Конечно, они везли для монастырских и церковных библиотек наработанные годами труды букв. Кто-то из них, когда поднимался на палубу, чтобы плыть в Акабу, «от тяжести горбился...». Ваня не горбился – нечем. Он всегда одинаково никакой, а то и противен. Ему другой брат-писатель тоже как-то сказал: «С тобой говоришь, будто с памятником на высоком постаменте... Как ты только жив до сих пор...» – но про этого писателя сейчас ничего неизвестно, где и что он, а Ваня – какой-никакой, а на Святой земле.

Ему нравилось ехать по пути пророков и апостолов, пусть и страшновато, и ответственно.

Еще недавно, год-два назад, Ваня о них думал сдержано, но теперь вот трепещет и будет трепетать, – знает наверняка – до конца дней. Он лю-

бит все: и Синай, и Палестину, и Иорданию, хотя прежде никогда не был; и не по книгам любит, а просто так; потому что Святые берега, что с незапамятных лет люди там славили Бога и славят по сию пору, и будут славить до веку. Такое есть на Святом Афоне, в Сергиевой и Киевско-Печерской лаврах, в Печерах и в Почаеве... – и Ваня про это знает, и тоже любит. Однажды его спросили: «А куда бы ты хотел?» – и он честно сказал: «Не знаю.. Мне и в Дивееве хорошо, и в Прилуках, и в Святых горах на Донце, и у преподобного Иринарха в Борисоглебске... Всюду....»

– Вот ты, верно, читал Бунина, – начал было однажды спрашивать Ваню Александр Петрович, большой и красивый русский державный витязь.

– Читал, – признался Ваня, – только Иван Бунин свое писал, а мне чужого не надо. Мне и Шмелев, и Зайцев – далеко. Местами мне Юрий Лощиц сродни, где у него святители и игумен Даниил меж собою ведут незримые беседы, и близко, а так – я люблю сам пощупать, приложиться лбом и губами: натура – колхозная, подкидыш.

«Синай» шел прямым курсом. На мостике стоял отец Василий, настоятель Никольского храма в Акабе. Это настоящий капитан. Совершенно не важно знать его подвиги. На него глянешь и все: **Капитан! Отец родной!** – есть такая фактура людей, которым к виду никаких характеристик не требуется. Оно бы можно многое из впечатлений на его счет сказать, да незнамо, что лучше. Вот и Ваня тоже говорил: «Отец Василий», – значительно так произносил, что сразу верилось в какую-то совершенную правду, но дальше этого молчал, хотя наверняка мог рассказать не меньше, чем мы читаем про святого Игумена Даниила у Сергея Куличкина... А иной раз и плакал, что многое хотелось бы поведать, однако далее, кроме слез ничегошеньки...

Прибывали... То есть стали приближаться к пристани. Первым увидели вдаль, над множественным, прибрежным городским хозяйством Акабы Крест над храмом святителя Николая. Сам отец Василий сообщил... Все перекрестились, поклонялись Кресту, что сиял золотом над парным от жары городом... По правде сказать, народ, конечно, мало еще чего тогда чувствовал и понимал, где и что... Но глядел, вздыхал...

– Мне почему-то вспомнилась икона преподобного Феодора Санаксарского, – совершенно неясно сказал Ваня тогда. – На ней святой старец держит свиток, где написано: «Думай о смерти»... Страшно не думать здесь!

– Ты меньше думай, – кто-то насмеялся на Ваню, – умничаешь много... Фарисействуешь...

– Каюсь, грешен...

– Это правда, – тоже кто-то безадресно сказал.

– А вон там, – сказал о. Василий, указуя перстом на берег израильской оккупации впереди, – Вифлеем, – спускаясь с мостика.

Никто из пассажиров не знал, что близость к батюшке на расстояние вытянутой руки закончится на причале. Точнее, увидят они его еще раз на напутственном молебне и в трапезной Никольского собора, но это уже другое «свидание»...

«Синай» открыл арабскую православную церковь, где служили молебны еще в середине третьего века и где и сегодня сияет неугасимая лампадка перед образом Спасителя над Царскими вратами: чудно и диковинно. Ваня смотрел и ничего не понимал, – где жизнь начинается и где заканчивается? – и просто верил.

Верил и как бы даже соглашался, например, что большой тяжеленный крест в руках Андрея Первозванного, широко шагавшего по берегу Иордана от горы к горе, испытует его крепостью веры и духа. В минуту своей мысли об апостоле в нем смешивались радость и надежда до слез.

* * *

...более всего Ваня трепетал перед пророком Моисеем. Этот собенный трепет он испытал в сравнительно тихом, хотя суетном городке, каковы все города Иордании, где по улицам одинаково неспешны автомобили и осляти, верблюды и лошади, пия из святого источника, льющего тысячелетие за тысячелетием воду из скалы, пробитую жезлом святого пророка. Что творилось в душе Вани, то только Богу известно, но в своем рассказе, вскоре, по его возвращении на родину, на поминках скончавшейся маменьки, рабы Божией Веры, он говорил:

– Тогда я понял, что даром мне не пройдет такая встреча... Какое-то время, не без боязни, вскрикивал ночами посреди кафизм: «Господи, Господи, за что мне сие, недотёпе... И Моисей, и Лот, и Красное море...», – и плакал не таясь.

Ваня тогда чаще думал о смерти. Он нет-нет, да и повторял слова одного монаха на вопрос своего духовного чада, что вот погиб-де очень чистый человек, совестливый, но язычник, которому нельзя молитвенно помочь: «Ты, брат, не печалуйся шибко... У Господа мест много... Есть

такие хорошие и уютные места, где все имеется, кроме радости...» – и Ваня с той поры много думал и страдал, как всякий грешный человек, избравший однажды путь спасения, подчинив свое содержание воле Господней.

Удивительно, но ничего, за столько времени, на этой земле не изменилось: ни караваны бедуинов, ни войны язычников противу воинов Господних.

Жители, населяющие берега вокруг морей Галилейского, Мертвого и Красного и вдоль реки Иордана Богобоязненны, кроме тех, кто, бежал от праведного суда из стран, где они истребляли своих братьев, и нанялись уничтожать коренные в гвардейские полки безвестных королей, как, впрочем, и липовых, цивилизованных иудеев, надумавших взять реванш не во искупление греха распятия Сына Божия, а в выжигание палестинцев, сирийцев и всего мира, за ту историческую память и любовь к Богу, конечно, уже не столь крепкую и твердую, что имел Моисей и его народ, однако, может, и большую, что есть у нынешних христиан.

Образ жизни арабов и бедуинов – это совсем не тот образ, имеющийся у нас или народов Старого и Нового света. Им Господь по-прежнему дает все необходимое для жизни: землю, солнце и воду. Земля плодородна тем, сколько иорданцам необходимо для пропитания. Они даже в плодах природы почти не отошли от сложившейся традиции: смоква, маслины, мандарины и апельсины, финики и бананы, орехи и виноград. Солнце столь щедро, что крестьяне собирают по два и три урожая в году. Ограниченность водных ресурсов Господь так устроил, что, обмениваясь с израильтянами и меж собою, арабы и ее имеют достаточно для потребления.

В письме другу Ваня писал:

«Арабы и бедуины трудолюбивы.

Арабы и бедуины живут в любви и согласии, хотя израильтяне и прочие цивилизованные народы, как то – англичане, французы и американцы, – и по сию пору раздирают их...

Арабы верующие люди. Они ровно дети. Их младенчество существует от начала по заповеди Господа.

Арабы преданы своей участи и, по опыту предыдущих тысячелетий, останутся таковыми до века. Можно внешне менять много на Иорданской земле, но внутренний ее мир постоянен. Взять тех же простых арабских мусульман. Их никто не неволит творить молитвы в час намаза. Меж тем, даже рядовой воин оставит винтовку и помолится на своем цветастом коврике, когда угрожает ему смерть от неприятеля, но не изменит Господу».

Ваня, видя младенческую веру простого солдата-мусульманина, от умиления перед ним и скорби за своих соотечественников, писал после брату на Север: *«Имей мы такую веру, какую я видел в правительственных кварталах Амана, когда в сорок градусов жары, боец на призыв муэдзина, ровно и хладнокровно сложил с себя вооружение, постелил коврик и самозабвенно молился. Он молился так, что я, не зная их языков, слышал его просьбу к Господу дать мир дому его сродников и народу, и земле...»*

Странно, но больше ни о чем он не просил Бога. Как самаритянин, ничего не знает из Богословия, но верит, так я пожелал бы верить и нам, христианам. В нем, воине, невозможно найти мудрствования протестантов или фарисейства католиков. Он младенец. Ему дай сегодня Святое Крещение и завтра уже он будет в раю, а то и к вечеру.

Мы часто слышим об арабском терроризме... Понятно, в семье не без урода... Верно, и среди арабов есть таковые, особенно в части образованных в странах Европы управленцев. Но сам народ, его центральная составляющая – простолюдины – это новорожденный чистый младенец, независимо от возраста, как источник святого пророка Моисея. Этот народ не станет громить христианские церкви, хотя в Иордании основная масса мусульмане, а, напротив, с почтением и воздыханием положит лепту на укрепление алтаря Престола Божия.

Арабы вообще к христианам относятся с особым чувством. Они и детей стараются пристроить в православные гимназии и школы, полагая, что только в них способно получить достойное образование.

Арабы при том, что в цивилизованном мире их приравняли западные гуманисты к человеконенавистническому роду, никогда не ворвутся в чужой дом, никогда не станут выжигать огнем, как то творят израильские фашисты в палестинских городах и деревнях, уничтожая разом кварталы и улицы.

У них, я бы назвал, избыточная снисходительная извинительность.

Один араб, Исса, что есть по-нашему Иисус, понятно, христианин, поведал мне, как в его подъезд вселился израильский дипломат, у которого, может, только ермолка не в крови убиенных палестинских младенцев. Так этот араб не убил дипломата и не взорвал детей его, а вместе с другими жителями дома обратился к правительству Иордании с просьбой подыскать для израильянина более комфортное жилище, где соседи не будут испытывать неприязни к палачу-новоселу.

Этот араб, как и его далекие и близкие предки родился по ту, западную сторону Иордана. Он ходил в школу, открытую Русской Православной Миссией в Палестине еще при турецкой оккупации. Там же учились его родители и дети. Затем набежала израильская саранча из стран Европы и Америки, разбомбила их село и школу. Перерезали под водительством Шарона и К° едва не весь его род, выгнав автоматной очередью оставшихся в живых мытарствовать по миру. И все ж, чудный, белый от огня и горя араб, которого я полюбил навсегда, встретив одного из армии Шарона, ряженного в тогу дипломата, не смел и подумать об убийстве...»

Вдругоряд Ваня писал своей маманечке перед ее успением: «... вернулся я с трудным сердцем. И ты, любовь моя, меня поймешь... Там Красно во всех отношениях: солнце и кровь. Нет, в Иордании не стреляют и не режут наружно, как в Багдаде, где американский скот ежедневно качает свои дряблые мышцы бомбометанием по безответным иракским детям...

Словом, не ведаю, помнишь ли ты Али, — он палестинец, — они у нас на Донце учились на энергетическом факультете... Должна помнить, по общежитию. Ты еще дивилась, когда наезжала ко мне, как много их и какие они красивые и сильные...

Впрочем, у него все, слава Богу, благополучно. Жена хорошая. Русская. Три хлопца. Два уже учатся в России.

Он меня узнал среди прочих. А я его не сразу.

Совершенно несказанна их приветливость, мамочка. Прямо как в нашем селе...

Кстати, тогда же я встретил своих однокурсниц, что вышли замуж за арабов и уехали с ними. Очень красивые девчата, хотя четверть века минуло. И русскости не потеряли, и семьи хорошие у них. Я не берусь судить за всех, но те, наши энергетики, любви-дороги...»

Батюшке Ваня писал иное: «... в Святых землях все прозрачно, как линии на ладони. Сразу видны Иерусалим, Вифлеем, Иерихон... Видны простые палестинцы на редких плантациях смоковниц и маслин, чудом сохранившихся в огне израильских танков, минометов и бомб. Видны вооруженные до зубов, безотчетные головорезы израильской армии. Среди них слишком заметно выделяются, бежавшие в девятнадцатом веке с турками черкесы: они одинаково преданы королю Иордании и премьеру Израиля Шарону. Задача, как цель, одна: уничтожение арабов.

Мой бывший однокурсник, араб Константин, прочитал в интернете на сайте православного сетевого братства «Русское воскресение» стихи Муина Бсису, зверски убитого в английской столице в номере гостиницы моссадовскими палачами. Узнав о моем пребывании в Магабе, целый день сидел над напольной мозаикой-картой Иерусалимской епархии, набранной смальтой в V веке, искренне веря, что именно в этот день, когда от жары плавился асфальт, мы встретимся...

И встретились. Долго молча смотрели друг другу в глаза. Ни он, ни я четверть века не знали друг о друге ничего и, надо полагать, знать не желали бы, если бы с нами и нашими странами не произошли то, что есть.

Забавно, однако, мы узнались. Константин стал на паперти, когда два Сергея, перекрестясь, входили в притвор, и сказал им: «Передайте Ивану, что я жду его здесь». Удивленные ребята, приблизившись к карте-мозаике, невинно бросили: «На паперти тебя спрашивал нищий».

Константин не был нищим. Скорее щеголь, по нашим, по московским меркам. Весь белый – голова, платье, носки и ботинки.

– Ты дал хорошие стихи Муина, – сказал Константин, когда я взором разыскивал нищего. – Ты меня не узнал, Ваня, и я тебя тоже... Ребята помогли, – быстро, с хорошим московским прононсом говорил. – У нас мало времени, но много ушей... Давай пройдем и выпьем на углу по чашечке кофе... – и я, покорный телок, шаркал за ним через улицу. – Ваня, забыл назваться: я – Костя. Мы с тобой учились в группе «один-два», после нас развели...

Развели всех.

На западном берегу у Кости была большая родня. Был дом. Сейчас он на восточном берегу. У него есть жена и три сына. Он возил детей инкогнито, без опознавательных знаков на западный берег и показывал дом, где жил он и где будут жить они.

– Это наш дом, – выкрикнула, подслушавшая разговор отца и сына, временная обительница подворья на русском языке.

– Нет, – сказал кишиневской хабалке Костя по-русски, – он никогда не будет твоим: и через десять, и двадцать, и тридцать лет...

– Константин, – обронил я, после фразы, которую напомнил мне товарищ, запавшую со времен нашего студенчества. – Горя много. Много горя. Бог милостив.

– Я знаю, – весело кричал вслед нашей машине, – повстречаться хотелось Ванюша, ты же знаешь. Я тебе напишу....

Как красив он, батюшка, как бел и прозрачен, и чист. Он похож на пророка.

Чувства смешаны. В Митрополии нас принимали протоирей Ибрагим, или правильнее Авраам и архимандрит Макарий приветливо, чинно. Владыка на тот час был в Иерусалиме.

Оба священника производили впечатление полной открытости, но это только внешне. Внутренне застегнуты на все пуговицы, по полной выкладке, готовы в любую секунду перейти в контрнаступление. Словом, бойцы!

Отец Авраам русского языка не знал и говорил через переводчика. По виду он занимает должность «правой руки» митрополита. Информировал о текущей жизни митрополии, избегая острых углов. Особенно нажимал на ровный характер отношений светских и церковных властей. Ложь весьма похожая на нашу.

– Отче, простите, Христа ради, – вклинился в момент паузы в его монолог, – нам действительно многому можно поучиться у вас, потому что Иерусалимская церковь самая древняя. На вашей земле, по вашим словам, мир и благодать, и то правда. Когда я стоял на горе Небо и обонял благоухания, парившие в воздухе, где несомненно всегда присутствует пророк Моисей. Я не чувствовал тысячелетий разделявших меня и его, – о.о. Авраам и Макарий сопереживательно улыбались в ответ, – он был со мною и во мне. Душа моя смеялась и рыдала, рыдала и скорбела. Второе чувство вызвано, не трудно догадаться, тем, что католики-францисканцы захватили гору вместе со святынями ея и используют лишь в части туристического бизнеса, точнее торговли... Схожая участь постигла и остатки святынь в долине, где вознесся на колеснице пророк Илия, подвизался пророк, Предтеча и Креститель Иоанн, где крестился водою Господь наш Иисус Христос... На месте пещеры, где скрывалось святое семейство по пути из Иерусалима...

– Довольно, – примерно так переводится жест о. Авраама, – мне понятна ваша шума. Для случайного гостя все, что сказано вами, горько слышать, но не нам, кто живет и молится Господу нашему Иисусу Христу здесь со дней Его рождения. Одна ваша писательница говорила, что не было подлее нашего времени. Две тысячи лет палестинцы встречали и разносили по свету благодатный огонь и никогда не сходили со своего

места. В этом году (2002 – С. К.) в Страстную седмицу и на Пасху они тоже встречали и разносили по Иерусалиму Благодатный огонь, но те из них, кто был в Вифлееме и скрылся в стенах храма Рождества Пресвятой Богородицы, вопия к православным братьям о помощи и защите, не услышали, кроме католиков, отклика, даже от самой большой и уважаемой в мире Русской Православной церкви, которая, обиженно, обратилась Мировое сообщество с требованием спасти ее имущество от повреждений: Паломнический центр, – построенный, между прочим, при активном содействии Палестинской администрации, – куда ворвались израильтяне, где давно не бывает паломников... Много, много детей и женщин в те дни в Вифлееме и Рамале тогда положили израильтяне под гусеницы...

После слов мы пили кофе и обменялись приветственными адресами.

Конечно, в Святой земле, мы молились и пели акафисты Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, Илии пророку и Предтече и Крестителю Иоанну...

И все ж, уезжая, я плакал, сроднившись с родною Палестиною, зная, что у Господа на моей грешной голове все волосы сочтены и ни один не упадет без Его святой воли. Что милость Его дана мне была на укрепление, дабы встретившись с непогодами на родине, пусть и крепко забившись, не пал до края, откуда обратного пути не бывает.

Маму перед ея успением соборовали. Отпели в церкви святого мученика Димитрия Солунского, – помните, летом я был у его святых мироточивых мощей в Салониках.

Хоронили на старом погосте в еще не мерзлую землю.

Два чувства — радость и скорбь — слились во мне...

Помолитесь о грешном р.Б. Иване непутевом, батюшка».

** * **

Спустя месяц Ваня получил письмо из Святой земли на свое там пребывание:

«Здравствуйте, уважаемый!

От имени нашего женского клуба Друзей русской культуры в Иордании и от себя лично хочу поблагодарить вас, а также Александра Юрьевича Сегеня, Сергея Павловича Куличкина, Лыкошина-младшего за интересную и незабываемую встречу. Вы даже представить себе не можете, что значит для нас, живущих вдали от Родины, но болеющих за ее судьбу,

встреча с вами — истинными патриотами России. Мы ценим каждое ваше слово в защиту правды и справедливости.

Очень жаль, что не довелось встретиться с Сергеем Артамоновичем Лыкошиным. От нашей семьи хочу сердечно поблагодарить его за теплые слова о нашем родственнике, палестинском поэте, Муине Бсису и пожелать уважаемому Сергею Артамоновичу крепкого здоровья и творческих успехов.

Очень приятно было для нас также увидеть стихи Муина Бсису на сайте «Русское воскресение». Спасибо!

От всей души желаем всем вам здоровья и творческих успехов. Храни вас Бог.

Надеемся на новые встречи с вами на иорданской земле.

С уважением Елена Бсейсо», — прочел в конце зимы.

* * *

Да, ровное дыхание осталось на спуске по трапу с «Синая». В остальном он понял лишь, что внешне тихая Иордания — это пуп Земли, где все переплелось от пророка Моисея до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа: чем глубже проникаешь в её прозрачность, тем крепче захватывает дух и чаще текут слезы.

Его добрый товарищ Сережа Исаков на Крещение, лежа в госпитале, говорил: «Слишком близко и быстро время. От Ильина дня до Богоявления — одно мгновение. Надо Петровичу в Аман позвонить: пусть готовится!»

«Всем нам надо готовиться», — завещал блаженной памяти успевший Иадор.

P.S. *Сегодня, двадцать седьмого января, на Отдание Богоявления, Ваня молился в церкви Ивану-воину о даровании мира арабским братьям...*

Американо-израильский военно-истребительный блок (США, Англия, Австралия, Израиль) сосредоточили мировой бюджет 2003 года в районе Персидского залива, держа под парами тысячи единиц авиации, нагруженной, кроме бомб, десятками тысяч британских и австралийских мясников.

Ваня не стал ждать приглашения на казнь отдельно взятых иракцев и по полудни вылетел в Багдад.

ЛЕТАТ ПТИЦЫ

... тень движения рук осталась лишь в грезах, и все ж не мог он согласиться с бесчувственностью и, пусть мысленно, но касался кончиков пальцев

голубки, что тоже парила над ним, боялась, не могла притронуться к его слабеющей стати, роняя слезу за слезою на темячко, пробуждая к сопротивлению смерти. Голубь стонал позади, как бы подталкивая в спину, едва подававшее признаки жизни, через лихорадку горячки в существующем теле, сердце, впереди которого торчали наружу обожженные лазером света ребра. Правая, простроченная пулями рука хлестала по сторонам фонтаны...

И все ж он не падал, собирал силою голубиной любви себя и сначала незатейливо, коряво, дальше скорьше заработал ногами, не видя и не разбирая впереди себя дороги, вдосыл мыслям решительно набирал скорость.

«Надо, – говорил он себе, – двигаться, иначе упаду. Иначе они добьются меня...»

Ваня брел бегом, подгоняемый сверху заботливым урчанием чашечек и раскаленным жаром белого песка по пустыне в сторону пещеры Авраама. Он не боялся встретить на дороге американца или англичанина, вооруженных и зашитых в пятнистые скафандры специальной защиты, – но и не собирался беззубо сдаваться на милость безбожному и богохульному победителю.

Ваня брел, оставляя за собою полюбившиеся героические будни Умм-Кассры и Басры, держа память веков Ветхого и Нового Заветов, ничего не боясь, зная, что у Бога даже волосы на его голове сочтены. Он брел, чтобы помолиться на земле Авраама, вверяя себя в его молитвенное заступничество, ибо, как сказано в Писании, от его семени пошли все племена и народы...

...В конце моста, Ваня рухнул лицом в пыль откоса дороги, в шум Тигра и Евфрата, что смешало его остаточное сознание и как бы понесло по берегам и левадам Чумацким шляхом меж ореховых аллей и абрикосовых посадок, через хутора и села на Абиссинию, где за столом собралась вся его рода, радостная и веселая, кроме отца, что никогда не жил в их хате и о ком никто из сродников не поминал вслух.

– Вот штука... – обыкновенно всплеснула ладошками бабушка.

– Ваня, – тоже обыкновенно сдержано вызвалась его любименькая крохотулечка и труженица полей мама.

И все такое ясное и родное: ток, толока, огород и не кошенная тропа к речке, откуда мчала, над землей, его талая и любая – сестра босоногая, Марыся.

– Ваня, – жалкуя, звалась, – Ванечка..., – и он вздрогнул на зов:

– Марыся, – хрипло из глубин земли подал голос и затем вывернул вместе с песком часть лица на солнце, едва-едва приоткрыв один глаз, ска-

зав вслух, должно быть чаечкам: «Теряю сознание...», – и так как-то задохся разверзости Альфы и Омеги.

Ваня не родился, чтобы стать знаменитым. Жизнь его складывалась так, как складывалась у многих его погодок. Радостное, счастливое детство. Школа, посильные труды по хозяйству во дворе и в колхозе, футбол и игры в войну, путешествия по лесам и долам, мечтания...

Когда его одноклассники в фантазиях брали города-герои и столицы мира, Ваня просто учился и, чтобы не огорчать маменьку незванным вниманием учителей, легко получал примерные оценки по предметам образования. Когда было, что мама слегла, Ваня, по простоте натуры, поступил на учебу в институт инженеров-энергетиков, – куда шли без затей колхозные хлопцы, – выводя себя за пределы затрат домашнего бюджета...

Ваню можно еще назвать последышем детей ветеранов войны с фашистами, но он непременно мирное дитя Великой страны Россия.

Ваня родился и собирался умереть в степях Украины, в гомоне птиц и щебетанье дубрав, где тихий колокол сельского приходского храма святителя Николая никогда не смолкал и всегда манил, держал народ в напряжении и ответственности, откуда блаженной памяти отец Михаил выходил, широко размахивал кадилом, пускал благоуханное курение по свету, зазывал на кладбище: «Паки-паки, миром Господу помолимся...», – и тысячи народу спешили, крестясь, под его молитвенный покров...

Ваня любил все содержание Абиссинии и не задумывался, что Господь ему судит иную жизнь, иные песни: и славу, и гимны, и порох, и...

– Не здесь! – вскрикнул грозно Ваня на приближавшуюся смерть одним, не полно раскрытым глазом. – Не здесь! Рано еще! – И снова задвигался. Не пошел, а пополз, еще сильнее обдирая рваную грудь, и скоро ж опять затих, вслушиваясь в хрип биения сердца, в стук течения задавленных массой тела дырявых артерий...

– Нет, не здесь... – еще раз убеждаясь в своем голосе, сказался Ваня и дальше забылся.

* * *

..., брат, – спрашивал Аббас доктора, – ты работаешь на войне полгода и ты видел не одну смерть...

– Несчетно, – сказал нарочито ясно Исмаил Аббасу, когда они возлежали на белом песке в черной ночи, облитые колючими зорями в Меж-

дуречье, вблизи Эдема, в центре раздвоения Тигра и Евфрата, печалюясь об участи родины и народа, и себя, и особенно, ставшему им дорогим, Вани. Аббас был в правительстве членом власти. Исмаил работал военным врачом. Оба они родились в трудовых семьях и трудились одно общее дело, чтобы их народ в своей стране чувствовал себя дома, но случилась война, которая порвала родину, семьи, взрослых и детей в клочья, и надо было работать на новом, доселе невиданном направлении, вырывая из рук врага оставшиеся лоскуты природной жизни, склеивая их для воскресения отчизны. Ни правил нового труда, ни техники воплощения еще никто на тот момент не мыслил и каждому следовало руководствоваться каким-то специальным орудием, чаще неизвестным...

– Несчетно..., – повторил протянуто Аббас, пытаясь представить себе единой картиной весь ужас многоголосья кричавших от боли, вылуплявших из орбит очи несчетных людей, где наверняка были дети и бабы, и немощные старики, что выпали из обихода века, требующие призрачной надежды!... – И ты еще не тронулся умом! Ты еще остался! – воскликнул испугано.

– Привычка, брат.

– Какая? Откуда? Разве можно привыкнуть смотреть на смерть каждый день? Разве можно, скажи мне, каждый час привычно взирать на горе? Чему обыкла тебя война? Чему научилось и выгорело до тла твое сердце? Способно ли осталось чувствовать?... Или, кроме ножа и пилы, ты уже ничего не чувствуешь и не видишь? Есть ли еще в человеке для тебя тайны?

– Есть! – спокойной уверенностью сказал Исмаил и опустил к мутной воде, походя, срывая с чинары листья и яростно швыряя по течению их в темноту, – есть! Сам человек для меня стал большей загадкой, чем то было до начала войны, – говорил он Аббасу с размышлением, превышающим музыку пульса, листая раз за разом портреты, умытых кровью бойцов и мальчишек-инсургентов.

В минуту чувств борьбы лицо Исмаила буквально просияло, — он вспоминал спасенных или, хотя бы, облегченных от боли, — в бархотном трауре ночи, осветив и берег, и песок, и чинару, где, прижавшись друг к другу, посапывала белая пара Ваниных чаечек, весьма редких и прихотливых голубей, давно никуда не летавших...

– Вера, брат, – молвил Аббасу, многозначительно и протяжно, – открылась мне через человека. Удивительно: война и вера. Вера – любовь. Есть любовь – есть человек! Нет любви – нет ни человека, ни веры! Через

кровь, боль и смерть я вышел на любовь, – это, – может со стороны показаться не многим, – мне и дорого.

* * *

...вечером, когда стало темно, день завершился, и жизнь вместе с солнцем сошла на нет. Вымороченный Ваня сидел на сырой земле край дороги, около своего двора, уже готовый к смерти, какая имела на его счет иные виды, и непомерно страдал под стук неурочного дятла, долбившего рваную кожу вербы. Мимо него колонною пробегали длиннохвостые, навьюченные дубовыми стволами автопоезда на запад по пыльной государственной дороге. Колонна увозила последнюю часть его содержания, которую он честно вложил в строительство леса, вырвав себя из мира на двадцать пять лет. Радость оставила его и он уже не видел смысла в продолжении какого-либо делания, отчего даже стволы принимал не в сыром, а напротив тому, в готовой оформленной законченности...

– Что ж ты, Вань, зря сидишь? – крикнул в окошко вопрос ведомый тяговой колонны.

– Смерти жду, да вот гроба нету, – несмело отказал сиделец.

– Напрасно, – сказал ведомый колонны, – на гроб заришься. Так помирай: дешевле станет...

– Это так, – согласился Ваня, не желая продолжаться....

...и колонна скоро оставила его внимание. Пыль поулеглась. Небо вспыхнуло жаркой летней зарей без месяца. Дятел долбил вербу, как бы исповедовал древо на память, уходившее долгими затвердевшими корягами в глубинность подземных течений реки. За мудреным своим ремеслом птах растерял самостоятельность. Его разгульные мысли в блуждающих недрах мозга наследовали промозглый стервенеющий взгляд растроганного Вани, но это его не смущало, потому что он понимал бессмысленность реагирования на случайные внимания человека в наступившей по всему фронту ночи, тогда как ему полагалось успеть довести затеянное до конца и дать испытываемому покой...

Ваня, меж тем, довольно отдалился от мирских хлопот душою и потому серое вещество его мозга работало вхолостую. Он разучился понимать роль труда и значение безвозмездной взаимности, и даже осуждал дятла, что случалось с ним редко, и называл «дурой-птицей», тогда как человека возвеличил до «вещества гораздо находчивой компетенции».

Дятел и Ваня успели много потрудиться, пошуршать в общежитии Всемирного равенства, мало пользуя его за дело, полагая, что так работает весь мир и от того в человечестве размножается всеобщая польза. Газет они не читали и радио не слушали, а довольствовались фактическим опытом. Им нравилось верить абстракциям пестрого светлого будущего и они гордились до последнего времени видимостью общего успеха, и так бы быть тому еще неизвестно сколько. – Ваня бы холил, лелеял и охранял леса и рощи. Дятел бы сотрудничал с ним, превнося в хозяйство достаточность полноты. – Но... произошла перемена. Правительство старой власти приказало долго жить и оставило народ оккупантам ...

Пузатая, лазоревая луна изменившейся природы неслышно ступила на пунцовый свет звездного неба, поубавила яркости, обводя мутным взором необъятность простора. Она, с высоты окоема, подивилась неслаженной дружбе Вани и дятла, поводила их тени туда и сюда: не сошлись, разладилась дружба. Ваня кивнул на луну, мол, конечно, права, нет той дружбы, ничего уже нет, сам собрался в иную дорогу. Смутилась луна и закрылась газовой синей вуалью от мира, приглушив нарочитость свечения. Заведенный характером Ваня, пусть и далек был от слов, но сказал:

– Эй, ты, – привычное прежде вхождение, – дятел! – проворная птица, не бросая труда, не смогла отвечать и потому отмолчалась, чем крепко задела самолюбие Вани...

– Ну, ты и чувырла, – продолжил себя соратник трудов витиеватым восклицанием в голосе. – Обернись на присутствие образом, когда с тобою сам Шкода сумерничает. – Но это мозговитое животное промолчало пользы ради общей взаимности, стукнуло раз за разом в черствую кожу вербы, после задрало клюв в небо на неспешность в походке луны и, щурясь глазками узкими и хитрыми, замыслилось над пациентом, разыскивая внутри его тела невидимую боль качественной вредности. Покачав умною головою, дятел ударил повторный вопрос.

Верба лишь согласно шумела листвою, как бы давала знать: думай доктор, что хочешь, я все стерплю, и не такое терпела, мне лишь бы жить.

Ваня не мог не радоваться их мягкому обходительному уважению в стылой зелени ночи и радовался одиноко, тогда как дятел продолжал трогательно ласкать вербу перламутровым хвостиком, прижимаясь одутловатыми щеками к грудной шероховатости простуды и затем, спустя слух, снова стучал больно, и...

– Не уважаешь ты меня, дятел, – сказал Ваня, – не ценишь простого моего уважения. Вот случится в тебе надобность и тебе не отвечу...

Так они проводились под звездным небом. Луна плыла меж прозрачных сизых облаков, лишь изредка выныривая из них всей полнотою лазоревого света, и на нее, в этой тихой прохладной ночи не были даже собаки, потому что изменилась в жизни природа. Ваня не мог позволить душе продолжительного страдания. Он поднялся с насиженного места в шелковой пыли и ушел в дом.

Больная жена валялась клубком на постели, занимая от общей площади лежания лишь малую долю по центру, провалившись внутрь набитого соломой матраца. Когда-то давно Ваня неслыханно ее любил, отчаянно бросив прежнюю любовь и сына Ваню. Он безоглядно тратился на взаимность, от которой не вышло последствия. Они поочередно любили мечтания, пока те не испарились. Последняя любовь-жена затосковала без занятий, слегла, ее маленькое сердце высохло. Она непрестанно тревожилась в потемках древнего лесного жилища, бредила и бесконечно звала:

– Вань-а-Вань...

Ваня вошел в дом, потоптался на месте — он давно потерял интерес к стенам жилища, — ничего не придумав, приблизился к пергаментной коже ненужной жены:

– Ну?! – спросил и ей нравилось его спрашивание, и она повторилась «ань-а-Вань...» – Ну, – раздраженно отозвался муж, – ну, здесь я, тут.

– Не кричи, – возразила она его надменной ревнительности. – Не кричи, Ваня.. – и муж, топнув ногою о половицы, отошел от нее к столу, оторвал ломоть черствого черного хлеба от буханки, макнул в соль и стал жевать.

– Мне, Ваня, сон приснился. Химерное – не иначе, как к лихомани... Поспросать бы старух... Деньги-то, деньги – фальшивые...

Ваня молчал на жену. Не осталось в нем ни любви, ни жалости. Он покойно жевал черствый хлеб и запивал его холодной «Лидией» и смотрел в открытую створку в студеной печи, наливаясь ненужною думою. Он перестал жевать. Аккуратно вымыл в тазу лицо и руки, облил прямо по полу ноги водой, затем облачился в костюм и парусиновые белые туфли на мокрую босую ногу...

– Ну? – выставился.

– Куда ж ты? – виновато смешалась жена. – Может помру.

– Двенадцать годов мрешь, – возразил Ваня, – вона, лучше телевизор гляди, хуже фашистов бомбят... Никакой жизни не знаешь, – говорил, прибирая со стола останки еды и крохи от хлеба.

Потоптавшись по дому, Ваня установил над чистой скатеркой сальную свечу на тарелку, зачем-то решив, что именно так обставив предмет, он утешит жену. Свет от зажженной свечи, какая скверно воняла и чадила на комнату, прерывисто возгорался и гас, но это нисколько не мешало ему сесть у края столешницы и склониться над простою ученической тетрадкой в косую фиолетовую линейку, чтобы писать в ней чернилами. Ваня писал Ване, – сыну от прежней любви, – письмо: «Здравствуй сын. Жизни нет никакой. Супруга мне нынешняя двенадцать годов уже истлевает. Новая власть берет нас силой наглости, а отвечать нам ей нечем, потому что старая власть воспитала нас духом любви и мира.

Скосила новая власть дубы в роще, завтра начнут косить ореховую аллею и липы. Нас они теперь ни про что не спрашивают и потому, уже сегодня, я хотел помереть, но решил обождать, потому, как новая власть не имеет для смерти гробов, продав материал под корень. На месте рощи американец Мкдональдс из Жмыренки строится гостевым домом для соплеменников неизвестных нам стран. Ты знаешь про мое слабое здоровье и мой ревматизм, отчего ложиться в сырую могилу такому ядовитому, какое есть я, противно для тела.

Ты давно работаешь в надежном направлении, и я еще никогда тебя ничем не беспокоил. Вот, а сейчас испрашиваю тебя: привези, сына, мне гроб, скоренько привези, и я к тому времени отойду, чтобы не жить в уже чужой нам земле лишним. Бывай здоров и пусть здравствуют твои сродники. Прощай. Твой отец Ваня», – затем надписал адрес на конверте, повесил на плечо ружье и отправился к проезжавшим по государственной дороге машинам, что шли к транзитным поездом через город.

Ночь была темная и была золотая луна, и как-то немножко от ее сияния светилась впереди леса розовая церковь с хмурым, но правым крестом на маковке, отчего ночь кажется утром и бодрит в старости прожитую молодость.

Много Ваня прополз утр по мялым росным огородам, где буйно в цвету реяла мелкая сладковатая, розовая американка. Плескалась об обрывистые берега волною река, хлюпали в камышовых чащах черные раки, скрипел в ногах белый, даже в ночи, песок, над головою молчаливо сучали белые хребты леса, возвышавшие собою с одного боку монастырь в лепрозории, с другого – суровую чугунную кондовость труб кирпичного завода.

Ваня прошел сквозь лес, которого нет, минул выкорчеванный сад покойного графа Левки Бобринского. Навстречу покатила вереница машин.

– Вань, извиняюсь, далече собрался, на ночь глядя? – спросил один из водителей транспорта.

– Да, нет же, – обрадовано закричал ему Ваня, – сыну письмо в город, к поезду, иду отправлять.

– Так давай его мне, – просто сказал шофер, – чего зря дорогу топтать. Я отправлю.

– Возьми, – легко отдал конверт, – скинь его в ящик.

Тот взял и машина пошла своим чередом. Ваня долго глядел в ее правильное ко времени движение на синюю, туманную, с малиновой прослойкой от влажного света дорогу. Чуть поодаль горел красный бакен на белом перекате на зеленой воде и слышалось поспешающее дремотное бормотанье мерщика: «Шест.. мат.. сем.. мат...» – шорох переплетенных ольховых веток, запах ранней травы и пронзительный до свиста в носу, ядовитый привкус белого ландыша, и дольняя на дожди под второй сенокос лягушья симфония, и надрывный, в сполохах из густых молочных, мокрых от слез кос ив крик одинокого жаворонка, и воробьиное, зябкое треньканье... А над всей благодатью реки и заливных лугов мало-помалу нарастала из кармина денница... По мосту бежал трудовой поезд. Под обрывом, что под мостом, в пьянящем несочном цвету по черной реке плыла вне времени, сорванная ветром ветка белой акации, как бы пробивая собою, своею безрадостною участью карминный рассвет, мимо заспанного грязного от частой копоты труб печи берегового ресторана, где богомолка, зарабатывая на свечи, нашептывала молитву и чистила картофель.

Грустно Ваня смотрел на скученную жизнь раннего утра и потому не заметил, как она прервалась для него, потому что свалился в земляной погребок ресторации и, напуганное громом кастрюль-черепков, ружье выстрелило в безвинную тишину зари.

Ваня спал в сознании...

* * *

...земля Эдема всегда остается в руках Господних.

Среди шатров и бедуинских кибиток, где давно не то, что лекарств, но нет даже пресной воды, месяц за месяцем работал раненых и пораженных бомбовыми разрывами в операционной палатке доктор Исмаил.

Персонал разбежался, потому что трудно каждый день смотреть оголтелый смертный поток или устоять перед непрерывным криком

боли. Ему помогали подростки да хромоногий фельдшер-черкес, тнувшийся за собою в операционную жертвы войны и обратно на санитарную площадь, пропитанную гнойно-трупной вонью зону, никем давно не замечаемую, как, впрочем, и много другого, где на одну сторону клал живых, а на другую – мертвых...

Железные коршуны днем летали над Эдемом и беспорядочно скидывали на головы ребятишек бомбы с химической и графитовой начинкой. Что не попадало на головы взрослых в укрытиях, то впитывалось с воздухом внутрь легких, отчего все получали «добро» оккупантов сполна, и почти никто не знал, что ему с ним, – «добром», – делать, однако все с надеждой смотрели на Исмаила: «Он знает и поможет»...

Исмаил за месяцы войны всяко жестоко истощился. Семьи у него не осталось и он жил теперь исключительно народною болью, и питал силы надеждою будущего воскресения из пепла родины. В минуты слабости тела и духа он отправлялся на излучину двух великих рек и подолгу плакал без слов. Молиться он боялся, потому что многое из прошлой веры перечеркнуто печальной памяти страницами предательств.

Исмаил временами раздражался больными и его не хватало на любовь. Он срывался на помощников-подростков криком, но тотчас же винылся и после страдал излишним вниманием к себе, корился и звал фельдшера-ассистента: «Следующего давай!»

Так черкес положил пред Исмаилом Ваню.

Это был уже не человек, а полыхающая жаром живая печь, превратившаяся в сплошной газовый гнойный пузырь...

Продолжительно тупо смотрел Исмаил на, как казалось ему, должно быть, в прошлом вполне симпатичного воина, в мгновение воплощенного истребительной машиной в кусок протухшего мяса. Нет, подумал доктор, ему уже не поможешь, – и сказал фельдшеру-ассистенту:

– Уноси, – безразлично, – даже резать нечего.

– Так найди! – скомандовал Ваня, чем немало подивил доктора, и тот с почтением вниманием широко уставился на раненого.

– Найди! – скомандовал по-арабски, по-французски и по-русски Ваня, Найди! Найди!

...Исмаил нашел и несколько часов кряду резал и штопал тело Вани без наркоза. Ваня своим смирением и терпением вынуждал доктора то вздыхать от напряжения, то впадать в стеснение перед героической кротостью безнадежного пациента.

Меж тем, ничего не помогало. Чтобы хоть как-то спасти раненого, требовалась кровь, но и ее в госпитале не было...

Сколько хватало мужества и сил у доктора, он потратил на Ваню, и все напрасно: сознание больной не терял, а остальные функции тела постепенно замирали, — и фельдшер по приказу доктора вытащил Ваню на открытую площадку, и положил пылающего воина посреди правой и левой сторон. Зачем положил? — черкес едва и сам способен был ответить: положил еще положил.

* * *

...после выстрела работала пресса. Пишут: он давно таился, давно готовился к залпу...

— Это он-то готовился к залпу? С чего? С охотничьего ружья дать сигнал свержения власти? Этот-то тщедушненький, тихонький человечек способен для больших дел?!

— Представьте себе, что способен, да еще и как способен, коль вся городская шума шумит, а ее у нас полным полно, неустанно трубит и требует высшей меры.

— Так уж и шума? — нарочито подивился от себя заключенный...

— Да-да, — продолжал рассказывать один из спорщиков, — и народ на стороне спорщиков, потому что ему больше некому верить, кроме шумы.

— Вы напрасно смеетесь, — обратился к заключенному, лежавшему на верхних нарах, — этот тип, приди к власти, таких дров наломал бы, что от демократии один плюрализм остался. Лягнул, понимаете, залпом...

— Помилуйте, — засмеялся старик с нар, — какое там залп из двух стволов охотничьей пушки. Пугач, да и только.

— Нет уж, позвольте, никакой не пугач. Вы сами-то были на улицах?

— Давно, брат, не бывал. По лесному делу служил. Там прежде все деревья да деревья были, но теперь, по всему выходит, улиц настроят.

— Да, — согласился спорщик, — а меж тем уже утро. Вон и лучик пробился с воли. Скорее бы на свободу, там нынче весна среди лета, хорошая весна. Вы, уважаемый, любите вёсну?

— Очень даже любил вёсны. Слышите крик вдали, то бежит по мосту дивной реки на зеленый свет сигнала трудовой поезд, какой и меня возил в чудные весенние утра на труды в пригород, где я служил начальником станции третьего класса. Он бежит по той дороге, какую построили мои

предки, чтобы проезжая на транспорте, люди смотрели и помнили нашу пойму от огромной судоходной реки Иордань, которую принято называть, то лиманом, то притоком, что есть сущая ложь... — и тут он сделал паузу для раздумия, широко вглядываясь со своего висока на предмет нужности дальнейших слов. — А вы, простите, из местных будете или вербованный?

— Вербованный, — коротко отвечал спорщик.

— Тогда, верно, и не следует вам ничего говорить. Чужой народ не способен до наших тревог...

— Вот и напрасно, — возразил вербованный, — вы так о нас, и среди нашего брата тоже всякий случается, но грести всех одною гребенкою... Вы говорите и ничего себе не думаете, потому что сидеть нам сообща еще не Бог весть сколько, а, следовательно, и разговоров, мож, случится немало...

— А что говорить? — подивился старик с нар. — Я у этой поймы-лимана родился, вырос на ее водах. Полумерком, конечно, мало смыслил в ней: вода-де и есть вода, — а с летами иное мое отношение. Вот вы скажите: много ли надо простому человеку?

— Много. Дом нужен простому человеку. Дом в три-четыре оконца.

— Верно, вы наш человек, но много ли их, домов, у простого человека? — Почитай, не осталось. А у меня есть. Я сберег его... Теперь вот сижу с вами и думаю: на кой я его ловчил и берег? Что с ним теперь, пока нас здесь расследуют, сделают...

— Ничего не сделают. Подержат положенный срок и вернетесь в свою лачугу.

— Нет, — возвысился на ударении старик и нервно попенял на камеру пальцем, — не лачугу, а дом, настоящий, в четыре окна по фасаду дом, со ставнями и мезонином. Таких домов не строят теперь, а у меня есть, то есть был, пусть и с выбитыми окнами, — с понижением тембра сказал он. — Там ведь я весь и вышел, там могла вместиться большая наша родня... Какой то был дом. Ему одного износу не износить, не говоря о другом.

— Вы о доме, как о живом.

— Он и есть живой, — сказал и, подумав, еще добавил грустно, — был!

— Вы старый человек и у вас есть головная боль о доме?

— Нет, — честно оказал Ваня, — у меня нет головной боли, — и замолчал. Вместе с собеседником они смотрели, как играет по полу золотой лучик надуманной весны, и слушали трудовые удары дятла, который работал

работу, не участвуя в борьбе идей. Удары его, по слуху Вани, приходились в центр боли вербы, а может акации, но это не имело решительно никакого отношения к положению, какое переживали сокамерники. Но, вот вошел надзиратель, и оба сокамерника встали, чтобы приветствовать, как полагалось по уставу внутренней службы тюрьмы, бессловесно.

– Гражданин Шкода, – строго сказал надзиратель, – с вещами на выход, – и, уходя, прикрикнул: живей!

– Прощайте, – сказал, едва касаясь рукою плеча, собеседник, понимая по-своему их «с вещами на выход», уже не надеясь увидеться, потому как Ваня казался ему лишенным права на жизнь. – Храни вас, Господь милостивый.

– Ууух, – тихо, при закрытых губах, растянул Ваня и повалился на собеседника.

– Господи, – взмолился вербованный, – что ж это с ними?

– Мигрень... – крепко сказал надзиратель, – от радости встречи с волей, чудак-человек.

– Он умер...

– Что ты, – от двери посмеялся на собеседника ожидатель, – такие не мрут.

* * *

...Исмаил и Аббас ту ночь сидели на берегу Междуречья и разговор меж них был не мирным.

– Ты должен понимать, что это не наш боец и не просто доброволец сочувствующего нам дружественного народа. Это – Ваня! Это – самое событие! Мы на тебя надеемся. Ты обязан...

На рассвете Исмаил, не нащупывая пульса, спросил больного:

– Ты как?

– Хорошо, доктор, поправляюсь... А вы как полагаете: жить буду?

– Жить будешь. Непременно будешь, – с готовой легкостью утверждал доктор, хотя по виду понимал, что Ване впору читать молитвы на исход души.

Сказал и отошел от больного к другому.

Тон все ж выдал придуманное усердие Исмаила, и Ваня совершенно здоровым голосом крикнул во след:

– Мне не время умирать... Отец ждет сына домой....

Врач внимательно посмотрел на мужественное лицо Вани и оторопел: только что последний лежал на смертном одре...

– Не время еще, – упорствовал Ваня, – верь мне...

«Врач всегда должен говорить больному приятные слова», – вспомнилось Исмаилу из практики в госпитале имени генерала Бурденко в Москве.

– Все будет хорошо, – сказал доктор и вышел вместе с фельдшером в операционную, а Ваня заплакал: судьба не решена, а его насильно угнетают – и смириться с положением не возможно, нет Его воли...

Да, он действительно остался в этой стране за други своя, не воюя в рукопашном бою, но непрестанно молясь за красивых иракцев. От внешнего мира в нем ничего не осталось, – и все ж он не мог позволить себе умереть даже в Эдеме, потому что место его там, по обету отцу духовному, среди могил предков:

– Господи, Ты милостив, Ты знаешь, что мне и я весь в Твоей воле... – и дальше его мысли поплыли по полям и долам Абиссинии, чащам, окутавшим Иордань, весь утыканный белыми лилиями; вишенкам, склонившим над травой рясные, до черноты красные ветви к Марысе – синеокой полянке, рвавшей листья шелковицы для шелкопрядов в яру, рекомендовавшей для надежности с ним в святые земли Месопотамии сестру-переводчицу Катюшу, забитую в бетон в первую ночь войны...

– Марыся, любя моя, глянь на своего Ваню и молись, – позвал даль, узко щурясь, через едва приоткрытые зенки, и с трудом различил в конце своих ног белую пару голубей, приспустил веки и сказал: тут я, тату... – захрипел, заклокотал нутром.

... и заплакали чаечки...

* * *

... где-то там, далеко, умирает мой брат Ваня, – набирая у соседей из колодца воду, говорила, черненькая и худенькая голосом горлицы Марыся псаломщику, – на смертном, чужом одре, в трех шагах от пещерки Авраама, будто подбитый на взлете журавль. Обнажились и на сердце его ребрышки опаленные. Истекла кровь из его тела. Плачут наш Ваня и две чаечки с ним, просят Исмаила участия, да не слышит он, думает о способах врачества. Ванечка-то еще жив и просит молиться, чтобы достучаться до Исмаила. Помолитесь и вы, дядечка, о брате нашем...

– Молимся, – сказал, не отрывая взгляд от сухой земли псаломщик, – миром Господу молимся который день. Солнце уже почти что вышло из облаков так, что думали сегодня...

– Нет, завтра, – махнула рукою на псаломщика, бросила ведро и воду, и побежала в левады, причитая, – страдания-то какие, страдания и где только силы взять сносить, а Ваня терпит... Господи, Господи, да будет воля Твоя...

* * *

... обойдя больных, Исмаил вошел в операционную без причины, потому как на сегодня в его распоряжении не осталось даже щепок, чтобы развести огонь и обжечь инструменты, сел и задумался о своей беспомощности.

Возможно, в эти минуты он себя ненавидел. У него не было сил возвращаться теми же рядами и говорить больным приятные слова.

Наверное, ему казалось, что...

Но шторка откинулась и перед ним в полный рост, пусть изможденный и кровавый, в холодном поту стоял вдохновенный Ваня!

– Режь! – скомандовал Ваня, выставя ржавую арматуру ребер на груди.

– Лечи! – скомандовал Ваня, делая четкие шаги, направляясь к операционному столу. – Не тяни, не в твоей воле меня хоронить...

Пришибленный поведением Вани Исмаил действительно вытянулся во фрунт, как на параде Победы, и не дышал.

– Не бойся, доктор... Я живой, настоящий, – продолжал шагать к столу Ваня, – и ты должен ..., – но силы уже исчерпались и он медленно опускался долу прямо в руки Исмаилу. Доктор подхватил рваное тело и с трепетом положил, будто дитя заснувшее, на рабочий стол.

– Инструмент, – скомандовал ассистенту.

– Вы думаете его спасти? – войдя в операционную, спросил черкес.

– Не в нашей власти его жизнь, – строго сказал ассистенту Исмаил, – делайте, что вам говорят.

Надежный и верный черкес, опираясь одною рукою на палку, заменявшему ему костыли, спешно перебирался по палатке, искал хоть какие-то чистые и не ржавые орудия хирурга и не находил.

– Я же просил инструмент, – строго повторил команду доктор.

– Есть только ржавый...

– Так и давайте, – весело сказал Исмаил.

С ним происходило что-то невероятное: без страха и упрека он срывал останки истлевшей одежды Вани буквально с кожей, пальцами протыкал набухшие гнойники... Глаза его при этом сияли восторгом нежности и любви.

Исмаил преобразился. Очищая ребра от наслоений грязи, он прямо-таки пел:

– Какое у него сердце... Сколько в нем верности и вдохновения, чувства...

– Сердце не бывает неверным, – отметил обычно молчаливый черкес.

– Что в этом понимаешь, брат, – отмахнулся доктор.

– И я человек...

– Прости, брат, но сейчас не до тебя, – неистово работал ножом, зажимами и иглой одновременно всеми руками и пальцами Исмаил. – Какая сила, какой дух...

– Это верно, – опять сказал черкес, – уму не постижимо, откуда в нем сила, чтобы встать и пойти...

– Уму действительно не постижимо..., – говорил доктор, – держите руку кверху...

– Вы думаете...

– Я не думаю, – говорил веселый Исмаил, – я теперь знаю, что Ваня будет жить еще долго и полезно... Отрежьте на спине мою рубаху... Да-да от воротника и до конца, и режьте ее на бинты... И штанины кромсайте...

Фельдшер-ассистент беспрекословно выполнял указания. Он тоже вдруг понял, что в его участии есть нечто больше, чем было в прежние операции...

– Хорошо, – говорил Исмаил, – крепко и туго вяжите руку... Имейте ввиду, там могут оставаться осколки...

– Хорошо, – продолжал распоряжаться доктор, – возьмите в шкафу виски и влейте в больного столько, сколько он сможет в себя вместить, – работая раны вокруг груди легко и радостно, и солнце, то самое жаркое солнце пустыни, теперь светило им особенно ясно и нужно, и даже как-то особенно улыбочато.

– Очень хорошо, – говорил ассистенту, – бинт и веревку. Будем вязать... – и вязали, и нещадно переворачивали по кругу всего Ваню, а он не спал, но и ни разу не вскрикнул, не поморщился, хотя, в прямом смысле слова, на нем не было живого места, и какое-то время и пульса...

Теперь он появился. Зардел румянец...

– Он будет жить, – уверенно сказал всему свету и себе Исмаил, глядя в синие кроткие глаза воскресающего больного, – его надо отнести в пещеру Авраама!

– Исмаил был мучеником за веру Православную, – сказал Ваня мимолетно доктору, — и тебе тоже уже пора определяться...

Фельдшер-черкес, без опоры на костыль, бережно, ведомо только Богу, как драгоценный сосуд с миром, нес через площадь, повязанное бинтами тело Вани, и в эти минуты все благоухало необыкновенным ароматом весенней свежести, и ряды живых поднимались и радовались за жизнь исцеленного.

* * *

Аббас лежал на песке в ногах Исмаила и плакал.

— Брат, — говорил он, — это чудо...

— Да, — легко согласился томленный Исмаил, — Господне... Помнишь, однажды Верховный муфтий Сирии говорил твоему русскому другу-профессору Иадору: «Он-то придет, несомненно придет, но только будем ли мы готовы», — о Втором пришествии Иссы.

— Да, — согласился поспешно Аббас, — только не совсем понимаю, к чему?

— К тому, что Господь меня позвал через Ваню, открывая ворота, и я пошел, — ответил Исмаил, встал и пошел, не оглядываясь на север, в сторону, куда нес черкес тело Вани...

Аббас тоже скоро перебрался в Россию, где все они: Ваня, Исмаил, черкес, Марыся, псаломщик и Ваня Шкода, — обязательно встретятся с Верой, Надеждой, Любовью в храме Ивана-воина.

* * *

...и чаечки умилительно покружили, благословясь, над пещеркой Авраама, да и полетели прямым курсом домой.